

Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы дать адмирала. Все у него было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, каким он разговаривал с прочими деревенскими гусями.

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. Прежде чем переставить лапу, гусь поднимал ее к белоснежному кителю, собирал перепонки, подобно тому, как складывают веер, и, подержав этак некоторое время, неторопливо опускал лапу в грязь. Так он ухитрялся проходить по самой хлюпкой, растележенной дороге, не замарав ни единого перышка.

Этот гусь никогда не бежал, даже если за ним припустит собака. Он всегда высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нес на голове стакан воды.

Собственно, головы у него, казалось, и не было. Вместо нее прямо к шее был прикреплен огромный, цвета апельсиновой корки, клюв с какой-то не то шишкой, не то рогом на переносье. Больше всего эта шишка походила на кокарду.

Когда гусь на отмели поднимался в полный рост и размахивал упругими полутораметровыми крыльями, по воде пробегала серая рябь и шуршали прибрежные камыши. Если же он при этом издавал свой крик, в лугах у доярок тонко звенели подойники.

Одним словом, Белый гусь был самой важной птицей на всей кулиге. В силу своего высокого положения в лугах он жил беспечно и вольготно. На него засматривались лучшие гусыни деревни. Ему безраздельно принадлежали отмели, которым не было равных по обилию тины, ряски, ракушек и головастиков. Самые чистые, прокаленные солнцем песчаные пляжи — его, самые сочные участки луга — тоже его.

Но самое главное — то, что плес, на котором я устроил приваду, Белый гусь считал тоже своим. Из-за этого плеса у нас с ним давняя тяжба. Он меня просто не признавал. То он кильватерным строем

ведет всю свою гусиную армаду прямо на удочки, да еще задержится и долбанет подвернувшийся поплавок. То затеет всей компанией купание как раз у противоположного берега. А купание-то это с гоготом, с хлопаньем крыльев, с догонялками и прятками под водой. А нет — устраивает драку с соседней стаей, после которой долго по реке плывут вырванные перья и стоит такой гам, такое бахвальство, что о поклевках и думать нечего.

Много раз он поедал из банки червей, утаскивал куканы с рыбой. Делал это не воровски, а все с той же степенной неторопливостью и сознанием своей власти на реке. Очевидно, Белый гусь считал, что все в этом мире существует только для него одного, и, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что сам-то он принадлежит деревенскому мальчишке Степке, который, если захочет, оттяпает на плахе Белому гусю голову, и Степкина мать сварит из него щи со свежей капустой.

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед, приторочил к раме пару удочек и покатил открывать сезон. По дороге заехал в деревню, наказал Степке, чтобы добыл червей и принес ко мне на приваду.

Белый гусь уже был там. Позабыв о вражде, залюбовался я птицей. Стоял он, залитый солнцем, на краю луга, над самой рекой. Тугие перья одно к другому так ладно пригнаны, что казалось, будто гусь высечен из глыбы рафинада. Солнечные лучи просвечивают перья, зарываясь в их глубине, точно так же, как они отсвечивают в куске сахара.

Заметив меня, гусь пригнул шею к траве и с угрожающим шипением двинулся навстречу. Я едва успел отгородиться велосипедом. А он ударил крыльями по спицам, отскочил и снова ударил:

— Кыш, проклятый!

Это кричал Степка. Он бежал с банкой червей по тропинке.

– Кыш, кыш!

Степка схватил гуся за шею и поволок. Гусь упирался, хлестко стегал мальчишку крыльями, сшиб с него кепку.

– Вот собака! – сказал Степка, оттащив гуся подалее. – Никому прохода не дает. Ближе ста шагов не подпускает. У него сейчас гусята, вот он и лютует.

Теперь только я разглядел, что одуванчики, среди которых стоял Белый гусь, ожили, и сбились в кучу, и испуганно вытягивают желтые головки из травы.

– А мать-то их где? – спросил я Степку.

– Сироты они...

– Это как же?

– Гусыню машина переехала.

Степка разыскал в траве картуз и помчался по тропинке к мосту. Ему надо было собираться в школу.

Пока я устраивался на приваде, Белый гусь уже успел несколько раз подраться с соседями. Потом откуда-то прибежал пестро-рыжий бычок с обрывком веревки на шее. Гусь набросился на него.

Теленок, взбрыкивая задом, пускался наутек. Гусь бежал следом, наступал лапами на обрывок веревки и кувыркался через голову. Некоторое время гусь лежал на спине, беспомощно перебирая лапами. Но потом, опомнившись и еще пуще разозлившись, долго гнался за теленком, выщипывая из ляжек клоchy рыжей шерсти. Иногда бычок пробовал занять оборону. Он, широко расставляя передние копытца и пуча на гуся фиолетовые глаза, неумело и не очень уверенно мотал перед гусем лопухой мордой. Но как только гусь поднимал вверх свои полуметровые крылья, бычок не выдерживал и пускался наутек. Под конец теленок забился в непролазный лозняк и тоскливо замычал.

– То-то! – загоготал на весь выпас Белый гусь, победно подергивая кучым хвостом.

Короче говоря, на лугу не прекращались гомон, устрашающее шипение и хлопанье крыльев, и Степкины гусята пугливо жались друг к другу и жалобно пищали, то и дело теряя из виду своего буйного папашу.

– Совсем замотал гусят, дурная твоя башка! – пробовал стыдить я Белого гуся.

– Эге! Эге! – неслось в ответ, и в реке подпрыгивали мальки. – Эге! (Мол, как бы не так!)

– У нас тебя за такие штучки враз бы в милицию.

– Га-га-га-га! – издевался надо мной гусь.

– Легкомысленная ты птица! А еще папаша! Нечего сказать, воспитываешь поколение....

Переругиваясь с гусем и поправляя размытую половодьем приваду, я и не заметил, как из-за леса напозла туча. Она росла, поднималась серо-синей тяжелой стеной, без просветов, без трещинки и медленно и неотвратимо пожирала синеву неба. Вот туча краем накатилась на солнце. Ее кромка на мгновение сверкнула расплавленным свинцом. Но солнце не могло растопить всю тучу и бесследно исчезло в ее свинцовой утробе. Луг потемнел, будто в сумерки. Налетел вихрь, подхватил гусиные перья и, закружив, унес вверх.

Гуси перестали щипать траву, подняли головы. Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу все вокруг зашумело, трава заходила sizыми волнами, лозняк вывернуло наизнанку.

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопыбив крылья, полегли в траву. Под ними спрятались выводки. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы.

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, тонким звоном отозвались велосипедные спицы, и к моим ногам скатилась белая горошина.

Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы града. Исчезла деревня, пропал из виду недалекий лесок. Серое небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела и пенилась. С треском лопались просеченные лопухи кувшинок.

Гуси замерли в траве, тревожно перекликаясь. Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове, гусь вздрагивал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина попадала в темя, он сгибал шею и тряс головой. Потом снова выпрямлялся

и все поглядывал на тучу, осторожно склоняя голову набок. Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят.

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неудержимой пляске подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины.

Гуси не выдержали и побежали. Они бежали, полузачеркнутые серыми полосами, хлеставшими их наотмашь, гулко барабанил град по пригнутым спинам. То здесь, то там в траве, перемешанной с градом, мелькали взерошенные головки гусят, слышался их жалобный призывный писк. Порой писк внезапно обрывался, и желтый одуванчик, иссеченный градом, поникал в траву.

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми глыбами падали с обрыва в воду и забивались под кусты лозняка и береговые обрезы. Вслед за ними мелкой галькой в реку сыпались малыши — те немногие, которые еще успели добежать. Я с головой закутался в плащ. К моим ногам скатывались уже не круглые горошины, а куски наспех обкатанного льда величиной в четвертинку паленого сахара. Плащ плохо спасал, и куски льда больно секли меня по спине.

По тропинке с дробным топотом промчался теленок, стегнув по сапогам обрывком мокрой веревки. В десяти шагах он уже скрылся из виду за серой завесой града.

Где-то кричал и бился запутавшийся в лозняке гусь, и все натужнее звякали спицы моего велосипеда.

Туча промчалась так же внезапно, как и набежала. Град в последний раз прострочил мою спину, поплясал по прибрежной отмели, и вот уже открылась на той стороне деревня, и в мокрое заречье, в ивняки и покосы, запустило лучи проглянувшее солнце.

Я сдернул плащ.

Под солнечными лучами белый, запорошенный луг на глазах темнел, оттаивал. Тропинка покрылась лужицами. В поваленной мокрой траве, будто

в сетях, запутались иссеченные гусята. Они погибли почти все, так и не добежав до воды.

Луг, согретый солнцем, снова зазеленел. И только на его середине никак не растаивала белая кочка. Я подошел ближе. Это был Белый гусь.

Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по траве шею. Серый немигающий глаз глядел вслед улетающей туче. По клюву из маленькой ноздри сбегала струйка крови.

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь и давя друг друга, высыпали наружу. Весело попискивая, они рассыпались по траве, подбирая уцелевшие градины. Один гусенок, с темной ленточкой на спине, неуклюже переставляя широкие кривые лапки, пытался взобраться на крыло гусака. Но всякий раз, не удержавшись, кубарем летел в траву.

Малыш сердился, нетерпеливо перебирал лапками и, выпутавшись из травинки, упрямо лез на крыло. Наконец гусенок вскарабкался на спину своего отца и замер. Он никогда не забирался так высоко.

Перед ним открылся удивительный мир, полный сверкающих трав и солнца. ■